

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Е89

Бушин, Владимир Сергеевич.

Е89 От Калуги до Кенигсберга. Фронтовой дневник / Владимир Бушин. — Москва : Алгоритм, 2017. — 320 с. — (Моя война).

ISBN 978-5-906947-43-7

Владимир Сергеевич Бушин – писатель и публицист, литературный критик, поэт — с 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 50-й армии, прошел боевой путь от Калуги до Кенигсберга. Потом — Маньчжурия, война с Японией.

В книгу вошли уникальные отрывки из фронтowego дневника В.С. Бушина, где очень точно, с яркими деталями показана жизнь солдата со всеми ее тяготами, опасностями, ратным трудом во имя Родины и горечью потерь. К своим записям автор дает комментарии с позиции сегодняшнего дня и делится размышлениями о войне и этой эпохе.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906947-43-7

© Бушин В.С., 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Массово-политическое издание

МОЯ ВОЙНА

Бушин Владимир Сергеевич

**ОТ КАЛУГИ ДО КЕНИГСБЕРГА
ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК**

Редактор *О. Селин*
Художник *И. Хотич*

ООО «Алгоритм»

Оптовая торговля:

ТД «Алгоритм» +7 (495) 617-0825, 617-0952

Сайт: <http://www.algorithm-izdat.ru>

Электронная почта: algorithm-kniga@mail.ru

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 19.05.2017.
Формат 84x108¹/₃₂. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-906947-43-7



9 785906 947437 >



НО ПРЕЖДЕ ЗАМЕЧУ...

Я начал вести дневник в двадцать лет на фронте. Уже после войны узнал, что это запрещалось, но я никаких запретов не изведal, может быть, потому, что, будучи радистом, делал записи чаще всего во время одинокого ночного дежурства на РСБ (радиостанция среднего бомбардировщика, установленная в виде закрытого фургона на полупортке). К тому же я был комсоргом роты и в этом качестве нередко приходилось бывать в ее разных, разбросанных по линии фронта взводах и отделениях, т.е. быть не на глазах начальства. Это также давало определенные возможности для ведения дневника. Да и знал о моем дневнике, пожалуй, только мой ровесник и друг Райс Капин, казах из Ташкента с довольно странной для казаха фамилией. Светлая ему память...

Мариэтта Чудакова, известная специалистка по дневникам, пишет, что форма дневника «позволяет создавать иллюзию свободного выражения мыслей и впечатлений автора» (КЛЭ, т.2. с.707). Что за чушь — почему иллюзию? Я писал все, что хотел, безо всяких иллюзий. Другое дело, что в моем дневнике нет записей, например, подобных этой:

«Утро человека начинается бурной физиологией. Человек гадит, мочится, издает звуки, харкает и кашляет, чистит протухшую табачищем пасть, вымывает гной из глаз и серу из ушей, жрет, рыгает, жадно пьет и остервенело курит. Насколько опрятнее пробуждение собаки.

Тяжелое хамство дремлет в моей груди.

Не осталось ничего, лишь скучная, бессильная злоба».

Какая тонкая наблюдательность! Какая откровенность! 3 ноября 1951 года это написал в своем дневнике уже всего объевшийся, утопавший в богатстве 32-летний мизантроп Юрий Нагибин.

Или вот что записал в дневнике 10 сентября 1976 года Андрей Тарковский: «В ночь на 9-е умер Мао Цзэдун. Пустячок, а приятно» (РГ.21.2.08). И это о смерти человека, который возглавил борьбу великого народа против многовекового рабства хищников Запада и привел к победе... Я подобную запись не мог сделать даже 30 апреля 1945 года, когда мы узнали о самоубийстве Гитлера.

В моем дневнике нет таких записей просто потому, что у меня совсем другие глаза, иная натура, совершенно непохожий склад ума. У осетинского поэта Бориса Муртазова есть стихотворение «Разные глаза». В моем вольном переводе оно выглядит так:

— Мне тошно на московских улицах! —
Сказал один москвич, мой друг. —
Иду — и хочется зажмуриться
От рож каких-то, от пьянчуг!..
Ответил я: — Ничуть не меньше
И у меня хлопот с Москвой:
Такая пропасть милых женщин,
Что так и вертишь головой!

В этом все дело.

Но Чудакову далеко превзошел критик Бенедикт Сарнов. Он уверяет, что иные советские писатели хитроумно нахваливали в дневниках Советскую власть, создавая иллюзию своей лояльности и даже любви к ней. Зачем? А это, говорит, «для глаз будущего следователя». Вдруг, мол, нагрянет ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ и при обыске уж непременно обнаружит дневник, а там — сплошные восторги о Советской власти и здравицы в честь товарища Сталина или раскаяния в своих антисоветских заблуждениях. Ну, и все по-

дозрения тотчас рассыплются в прах. Может, еще и орден или Сталинскую премию дадут хитрецу.

В качестве примера Сарнов называет известного до войны драматурга А.Н.Афиногенова, автора талантливых пьес, в том числе замечательной «Машеньки», по которой в 1942 году был поставлен фильм, тогда же, в дни войны получивший Сталинскую премию. Автор пьесы этого не дождался. Сарнов приводит такую, допустим, запись драматурга: «Нет, все же наше поколение неблагодарно, оно не умеет ценить всех благ, данных ему Революцией. Как часто забываем мы все, от чего избавлены, как часто морщимся и ежимся от мелких неудобств, чьей-то несправедливости, считаем, что живем плохо. А если бы мы представили себе прошлую жизнь, ее ужасы и безысходность, все наши капризы и недовольства рассеялись бы мгновенно, и мы краснели бы от стыда за свою эгоистическую забывчивость... Я всем сердцем люблю новую жизнь!» Критик убежден: это — для Ежова! Он уверен: интеллигентный человек не может любить Советскую власть, не может думать, что в прошлом были ужасы, которых при Советской власти уже нет. Как и о том, что в нынешней России столько ужасов, коих мы не ведали в Советское время.

А Александр Николаевич погиб в 1941 году во время налета немецкой авиации на Москву. Между прочим, это случилось в здании ЦК, на которое упала бомба. Странно, что Сарнов не использовал сей факт для доказательства того, что Афиногенов сознательно выбрал место своей гибели, чтобы еще раз заверить партию и правительство в своей преданности и любви. Странно и то, отчего критик, приведя известные строки из дневника К.Чуковского о том, как они с Пастернаком наперебой восхищались Сталиным, увидев его в президиуме съезда комсомола, не зачислил и это в графу «для будущего следователя», для Ягоды.

В нашей литературе наиболее известны короткие дневниковые записи Пушкина, «Дневник писателя» Достоевского, многолетние с 19 лет до смерти дневники Толстого, короткие записи Чехова...В более позднее, в Советское

время — Бунина, Пришвина, Чуковского, «Рабочие тетради» Твардовского, воспоминания Эренбурга, Нагибина, Куныева... В сущности, своего рода дневниками оказались и «Камешки на ладони» Солоухина, и «Затеси» Астафьева, и «Мгновения» Бондарева... Я думаю, что все упомянутые писали дневники не из страха перед Третьим отделением или КГБ и даже не перед самим Сарновым. Так писал и я, не пытаясь создавать никаких иллюзий.

Надо еще заметить, что я начинал дневник, разумеется, безо всякого прицела на публикацию. Ну, кого могли заинтересовать писания двадцатилетнего безвестного солдата? Да я и сам не думал о литературском будущем, хотя вскоре начал печатать стихи в армейской газете «Разгромим врага». Однако гораздо позже, когда мое имя замелькало, даже можно сказать замельтешило в пресса и встало в определенный литературный ряд, читатели не раз обращались ко мне с предложением или с просьбой написать воспоминания. Так, незнакомый мне В.Андрианов после публикации в «Завтра» моей статьи о поединке на телевидении Г.Зюганова и демократа Л.Гозмана прислал мне по интернету 29 апреля 2011-го года и упрек и призыв: «Владимир Сергеевич! Зачем Вы тратите драгоценные «снаряды» своей публицистической «пушки» на таких ничтожных политворобьев, как Леонид Гозман? А кому интересны бредовые выхлопы ума подельника Горбачева по развалу страны и всего соцлагеря бывшего секретаря ЦК Валентина Фалина или убогой думской функционерши «Едра» Яровой? Их и знать-то никто не знает! А Гозман настолько сер, безлик и тягостен... Двойник Льва Новоженова. Треп этих людей просто смешон и вступать с ними в дискуссию на полном серьезе — это создавать им рекламу. Извините, но для такого автора, как Вы, это мелкотемье».

Я согласен с оценками «этих людей», но согласиться, что понапрасну веду пальбу из пушек по воробьям, не могу. Да, воробьи! И сами по себе они меня совершенно не интересуют, и я не рассчитываю ни устыдить их, ни переубе-

дять. На это, похоже, надеется Геннадий Зюганов. Он то уверяет их, что им будет стыдно за те гнусности, которые они льют на Ленина; то приглашает посетить сайт КПРФ; то говорит: «Перечитайте переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем». Пере-? Да они ее и не читали, скорей всего и не знают о ней, ибо все это их совершенно не интересует, чуждо им и отвратительно.

Да, говорю, это воробьи, но им же предоставлены самые высокие в стране трибуны, их слушают миллионы и они, в сущности, тиражируют не свои собственные «бредовые выхлопы ума», а взгляды, мысли, оценки враждебной народу верховной власти. Они — лишь повод, чтобы ударить по позиции именно антисоветской верхушки. И я во все не «дискутирую на полном серьезе». То, что я проделываю с ними называется иначе.

А дальше В.Андреанов пишет: «Мне кажется, Вы должны заняться писанием мемуаров. Интереснейшего материала у Вас уйма. Детство, юность, война, Литинститут, Ваше становление как поэта и писателя, встречи с великими людьми, перестройка, Ваша яростная борьба с разрушителями СССР.. Все это было бы чрезвычайно интересно и познавательно.

Большая просьба: отложите в сторону всю текучку, возьмитесь за очень нужное для читателей и для истории русской литературы дело — за воспоминания!»

Недавно Светлана Лакшина даже попросила у меня почитать мои воспоминания — от кого-то слышала, что они уже опубликованы. Увы... Воспоминания — это совсем иной и очень соблазнительный жанр. Но дневник в какой-то мере может заменить воспоминания, а в некотором смысле он даже предпочтительней. Тем более что я буду дневниковые записи сопровождать примечаниями нынешних дней и воспоминаниями.

Но чтобы ввести читателя «в курс моей жизни», начать придется именно с воспоминаний, точнее, с биографической справки. Если кратко, то выходит дело так.

Я родился 24 января 1924 года в Глухове. Это недалеко от Ногинска (Богородска), что в Московской области. Мать Мария Васильевна в молодости работала ткачихой на фабрике или, как тогда говорили, мануфактуре Арсения Ивановича Морозова, кажется, одного из знаменитого рода фабрикантов. Я после двух сестер был третьим ребенком в семье, вернее, четвертым, — первенец моих родителей умер в младенчестве. Мать тогда уже не работала. Отец Сергей Федорович Григорьев-Бушин лет в двадцать окончил Алексеевское юнкерское училище, что находилось в Лефортове, словом — офицер царской армии, позже — врач-хирург и член партии, уже просто Бушин. И мать до моего рождения какое-то время тоже состояла в партии. Отца почему-то часто переводили по работе с одного места на другое в пределах Московской области. Он был главным врачом в Монино, Раменском, Кунцево, а с 1933 года, видимо, когда я начал что-то соображать, мы жили в Измайлове, которое тогда было подмосковным селом. Его образующим центром с давних дореволюционных времен являлась прядильно-ткацкая фабрика, а потом и колхоз «Красная гряда». При фабрике — несколько больших и не очень больших корпусов и домов в два-четыре этажа, которые с дореволюционных времена называли спальнями. В них жили рабочие и все сотрудники фабрики. Существовало два двора — старый и новый, почему-то получивший название Балкан. Тут же была хорошая полтораэтажная больница, тоже дореволюционная, где отец работал главным врачом. Последнее место его работы — уже в самой Москве, какая-то большая больница в Сыромятниках. Я там не был, но помню горделивые восторги деда: «Какая больница!..» Отец умер в 1936 году... Однажды к Коктебеле я написал стихотворение «Воспоминание в Крыму об отце».

Он умер от чахотки в сорок.
Его в Крыму бы полечить!
Но не легко туда в ту пору
Путевку было получить.

Но, впрочем, и не в этом дело,
А в складе том умов, сердец,
При коем дух превыше тела, —
Таким и был он, мой отец.

То партячейка, то субботник —
И всюду первым, не вторым —
То мореплаватель, то плотник...
И где там Крым! Какой там Крым!

А я, продукт эпохи новой,
Дитя литфондовских щедрот,
Благополучный и здоровый,
В Крыму едва не каждый год.

А мать умерла в 1981-м. Это было в Нагатино, где она жила со старшей дочерью. Я сидел у ее постели, она гладила мне руку и говорила: «Я ухажу...» Почему-то мама не похоронила урну с прахом отца сразу, и она оставалась в сундуке до ее смерти. И тогда собрались мы перед поездкой в Глухово на кладбище всей семьей — родители в урнах и нас трое, их детей. Там, на глуховском кладбище они и лежат...

Как большинство советских людей, свою родословную дальше бабушки Арины Никифоровны, умершей в 1944 году и дедушки Федора Григорьевича, умершего в 1936-м на полгода раньше отца, я не знал. А родители матери умерли еще до революции. Некая Лариса из Ленинграда, тупая антисоветчица, поселившаяся на моем сайте в интернете, уверяет, что Советская власть не то препятствовала, не то прямо запрещала нам интересоваться своими предками. Почему? Зачем? Она не знает, но уверена. Да разве книги, фильмы, спектакли о временах Александра Невского, Ивана Грозного, Петра, наконец, Ленина и Сталина — не о наших предках? У нее, видимо, предки откуда-то из Африки или из космоса. А ведь дело-то простое. Почти все мы из крестьян. Откуда там взяться генеалогическому древу?

Однако когда мое имя замелькало в печати, Вячеслав Александрович Казанский, заслуженный учитель и краевед из села Михайловского, соседнего с деревней Рыльское, где жили на берегу Непрядвы мои дедушка и бабушка, у которых я и мои сестры каждый год проводили лето, по ревизским сказкам, оказывается, до сих пор хранящихся в областных архивах, составил мне мою родословную по линии отца и возвел ее к Степану Феопентовичу Бушину, жившему в 1703—1754 годы, современнику шести царей от Петра до Елизаветы. Что дает мне знание всего лишь имен Феопента и Степана Бушиных? Вроде бы ничего. Но вроде бы и неохватно много. Если есть у меня какие-то способности, то я обязан этим длинному ряду моих предков, в которых эти способности накапливались столетиями, передавались от поколения к поколению и вот подарены мне. И я чувствую великую ответственность перед длинной чередой предков.

Я считаю себя туляком, потому что из Глухова, что под Ногинском, где родился, мы уехали, когда мне было лет пять, и ничего не помню из столь раннего детства, кроме странных мистических сновидений да одного совсем не мистического случая: очень любившая меня тетя Агаша, соседка по коммунальной квартире, зачем-то высунула мою юную, ничем не обремененную голову в форточку и долго не могла втащить обратно, хотя, говорю, голова-то было легкая. А изрядную часть и «сознательного детства», и отрочества, и юности я провел как раз в Рыльском у милой бабушки Арины Никифоровны, исконной пролетарке, увезенной дедушкой Федором Григорьевичем, тоже очень добрым и славным, в тульскую деревню. Он был мастер золотые руки, солдат японской войны, но мужик гулевой, время от времени отключавшийся от брэнного мира по причине запоя, что, впрочем, не помешало ему после недолгой и несправедливой тюремной отсидки стать председателем колхоза имени Марата.

В Рыльское я и сестры ездили каждое лето, а изредка и родители с нами. Однажды я был там с отцом зимой. Как раз готовилась коллективизация. Деревня бурлила. В из-

бу набивались мужики со всей деревни и пытали отца — он же был столичный коммунист и образованный человек, врач — пытали, что будет, как и зачем. Иногда поднимался такой гвалт!.. А я лежал на высокой печи и в прорезанное под потолком окошко с интересом смотрел и слушал, ничего не понимая, как в «Войне и мире» моя ровесница шестилетняя Малаша смотрела тоже с печи на совет в Филях. Громче всех шумел лысый Андрей Семенов, чья изба была напротив и ниже на лугу, доходившем до Непрядвы.

В школу я пошел в 1931 году в Раменском. Это была одноэтажная каменная земская школа — так ее и называли. Был у меня там друг Коля Чистяков, я до сих пор помню его зрительно. Помню и один конфузный случай... В детстве я был болезненно застенчив. Даже в своей семье за обеденным столом не мог ничего сказать громко, как-то обратить на себя внимание без того, чтобы не залиться краской. Вот из-за этого в первом классе однажды и случился конфуз: не посмел во время попроситься выйти из класса... Беда! Катастрофа!.. Правда, никто ничего не заметил. Во второй класс пошел в Кунцево, а в третий — уже в Измайлово. Старая школа была такого же образца, как в Раменском — каменная, добротная с большим актовым залом. Там, помню, в день какого-то праздника, видимо, Первого мая, умирая от смущения, я читал со сцены стихи:

Я — май зеленый, листочек нежный,
И непокорный, и неукротимый.
Вперед стремлюсь я и исчезаю,
И к жизни новой всех вас зову...

Там помню уже многих друзей: Васю Акулова, Толю Антонова, Толю Фомичева... С Фомичевым мы были вратарями двух соперничающих футбольных команд соседних дворов. Помню и классного руководителя Николая Георгиевича, доброго человека с бельмом на левом глазу. Он очень любил нас, а меня, пожалуй, особенно. Подумать только, из деревни Измайлово, когда еще не было не только метро, но

и до трамвая надо была топать несколько верст, он возил нас в Архангельское и в Останкино, в музей!

Эта школа называлась Белой, а в четвертом классе мы учились в обыкновенной крестьянской избе, в которой было две комнаты и небольшой коридор. Рядом — прекрасная старинная церковь. На Пасху мы видели из окон вереницы старушек, шедших святить куличи.

Стыдно вспоминать, но ведь было... По наущению второклассника Илюхи Котова, заводилы всего класса, я стащил для него у самой учительницы шерстяные перчатки. Да еще гордо напевал потом блатную песенку той поры:

По ширмам бегать научил меня товарищ мой...

Это блатное выражение означает «воровать». Оно есть и в нынешнем словаре воровского жаргона.

Что из пакостей такого же рода застряло в памяти из той поры? Да хотя бы то, как еще в Раменском, т.е. будучи первоклассником, я из кустов сада, умирая от страха, запустил камнем в большое итальянское окно детского сада. Почему, зачем?.. Мимо нашего дома озорные фабричные огольцы (сейчас это слово забыто: мальчишки, пацаны) ходили в парк на озеро купаться, и каждый раз они швыряли камни в наши двери и окна и во все горло вопили: «Бей жидов!» Хотя во всем доме был только один еврей — врач Граевский, женатый на французенке мадам Сюзанне. Видимо, я разбил окно только для того, чтобы доказать себе: и я это могу! Комплекс Раскольникова. А ведь вроде бы психически вполне нормальный человек...

Пушкин писал:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Лев Толстой однажды заметил: «Надо бы сказать «строк постыдных». Но на такую откровенность, как Толстой, способны немногие. Я не понимаю, как он мог своей жене, во-

семнадцатилетней чистой домашней девочке, дать читать свой дневник за былые годы, в котором ведь чего только не было. Далеко ли это от другого Льва — от Ландау, который говорил жене: «Сегодня вечером я приведу девочку. Приготовь нам чистое постельное белье». И та готовила...

В пятом классе я учился уже в Красной школе на Балкане. А летом 1936 года отец отвел меня в только что построенную четырехэтажную школу №437, которую я и окончил летом 1941 года за несколько дней до войны.

А в деревню нашу можно было ехать двумя путями: первый — с Курского вокзала до Товарково, а там поджидал с лошадью дед или дядя Гриша, младший брат моего отца, и надо было плестись еще 25 верст, часто по ужасной жаре; второй путь — с Павелецкого вокзала до Льва Толстого (Астапово), там — пересадка и — до Птани, где опять же кто-то, конечно, встречал. Летом после второго курса Литинститута я позвал с собой в деревню друга-однокурсника Женю Винокурова, прекрасного поэта, милого человека. Прибыли мы в Товарково. Нас никто не встречал: дед давно умер, а кто еще?.. Это же был 1948 год, деревня пережила оккупацию, наша изба сгорела, вероятно, и лошадь невозможно взять в колхозе, если они были. С грехом пополам на весьма специфической сильно ароматической машине мы все же добрались до деревни, где нас ждали дядя Гриша, тетя Лена и мои двоюродные сестры Клава и Тоня, которые ныне живут в прекрасном Минске.

Запомнилась первая самостоятельная поездка в деревню. Мне было тринадцать лет, зимой умер отец, и вот меня почему-то отправили одного. Кто сейчас решится на это? Тем паче, что сестра купила мне билет с Павелецкого, т.е. с пересадкой в Астапово, да еще почему-то вышло так неудачно, что там мне пришлось ждать мой поезд до Птани семнадцать часов, чуть ли не до вечера следующего дня. Куда деваться? Что делать? Хорошо еще было тепло, июнь. Ну, побродил я по станции, посидел в буфете. Наступил тихий вечер и вдруг донесся звук духового оркестра. По не-

знакомому поселку я пошел на этот звук. Дорога привела в парк, к танцплощадке. Вероятно, была суббота или воскресенье. Посмотрел я на танцующих. Что мне, тринадцатилетнему, еще делать? Вернулся на станцию. Печаль того вечера памятна мне доньше. А как скоротать ночь?

Уже поздно вечером то ли сам вспомнил, то ли мне кто-то сказал, что ведь здесь умер Толстой. 28 октября 1910 года он, терзаемый стыдом и горем, ушел из Ясной Поляны в сопровождении своего врача Душана Петровича Маковицкого, по дороге в поезде подхватил воспаление легких, в Астапово его ссадили и здесь в квартире начальника станции Ивана Ивановича Озолина, обрусевшего латыша, 7 ноября в 6 часов 5 минут утра писатель умер.

Сейчас в статье священника Георгия Ореханова я прочитал, что старец Варсонофий, игумен Оптиной пустыни, явившийся сюда в предсмертные дни Толстого с целью добиться его покаяния перед церковью, «вынужден был ночевать на вокзале в женской уборной» (Ясная Поляна. «Толстой. Новый век» №2'06, с. 115). Ждал согласия грешника, и готов был прямо из уборной кинуться к его смертному одру. Не дождался...

Так вот он прямо около станции, этот дом. По моим воспоминаниям, он деревянный, одноэтажный, в пять окон. Но на фотографии в одной книге 60-х годов — два этажа. Как видно, надстроили... Что знал я тогда о Толстом, что читал? «Кавказского пленника», конечно. Его тогда в четвертом или третьем классе проходили. Там, в «Пленнике», все так просто, ясно и благородно: нельзя товарища бросать в беде. Помните, как Жилин тащил на горбу выбившегося из сил Костылина? Мой друг Вася Акулов, одноклассник, почему-то иногда повторял: «Костылин мужчина грузный...»

И в каком сне могло присниться Пушкину, Лермонтову, Толстому, у каждого из коих был свой «Кавказский пленник», что в XXI веке на их родине снова появятся кавказские пленники — не повести и поэмы, а живые соотечественники. А чего не только классики, жившие сто-двести лет тому назад, но и мы, современники, до сих пор вооб-

разить не могли, так это «московские пленники», т.е. русские в плену у русских. 20 февраля этого года два офицера ГУ МВД похитили и вывезли в Можайский район Московской области Николая М., жителя Смоленска, и потребовали от родных 700 тысяч рублей выкупа. Помните, как дело было в повести Толстого? С Жилина «татары», как они названы автором, потребовали 3000 рублей. Он сказал, что больше 500 они не получат, «татары» согласились, но и этого пленник давать не собирался, старой больной матери негде было взять таких денег, и он нарочно писал письма так, чтобы они не дошли, надеялся бежать. И вот с помощью сердобольной юной «татарочки» удалось. А Костылин выплатил 5000. У Пушкина, и у Лермонтова, не добрая «татарочка», а влюбившиеся в русских пленников черкешенки. Они спасают русских, но в порыве неразделенной любви бросаются в реку, тонут.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Но вернемся в 37-й год в Астапово.

Я дернул входную дверь дома Озолина, она, конечно, была заперта, во всех пяти высоких окнах — ни огонька. Несколько раз обошел вокруг дома, как 27 лет тому назад утром 4 ноября Софья Андреевна, приехавшая из Ясной. Устал ходить, сел на крыльцо в три ступеньки. Была уже глубокая ночь, слипались глаза, захотелось спать. Положив под голову сумку, что была со мной, прилег и быстро уснул, как провалился в бездну. Так всю ночь до рассвета и проспал на крыльце этого скорбного дома. На рассвете меня разбудил свисток паровоза.